

A close-up photograph of a baby's face peering through a heart-shaped hole cut into a blue-painted wooden door. The baby has large, bright blue eyes and is looking directly at the camera. The door's surface is textured with visible brushstrokes. The hole is outlined with a slightly darker blue paint. The baby's hands are visible at the bottom edge of the hole, gripping the wood.

ВЛАДИМИР ШПАКОВ

СМЕШАННЫЙ

break

Владимир Шпаков

Смешанный брак

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=8484146
Смешанный брак: Роман: Время; Москва; 2014
ISBN 978-5-9691-0999-5

Аннотация

Новый роман петербургского писателя Владимира Шпакова предлагает погрузиться в стихию давнего и страстного диалога между Востоком и Западом. Этот диалог раскрывается в осмыслении трагедии, произошедшей в русско-немецком семействе, в котором родился ребенок с необычными способностями. Почему ни один из родителей не смог уберечь неординарного потомка? Об этом размышляют благополучный немец Курт, которого жизнь заставляет отправиться в пешее путешествие по России, и москвичка Вера, по-своему переживающая семейную катастрофу. Сюжет разворачивается в двух параллельных планах, наполненных драматическими эпизодами и неожиданными поворотами. Вечная тема «единства и борьбы» России и Европы воплощена в варианте динамичного, увлекательного и убедительного повествования.

Содержание

1. Drang nach Osten	5
2. Записка из мертвого дома	19
3. Долгое прощание	33
Конец ознакомительного фрагмента.	41

Владимир Шпаков

Смешанный брак

© Владимир Шпаков, 2014

© «Время», 2014

*** * ***

1. Drang nach Osten

Этот тип с фотокамерой расхаживает перед домом со скучающим видом, похоже, не очень верит в успех. Иногда он направляет объектив на окна в третьем этаже, выжидает паузу и делает снимок. Пауза означает: в глубине души папарацци все же надеется, что плотные коричневые шторы, закрывающие окна наглухо, хотя бы чуть-чуть сдвинутся, и кадр оживится, сразу повысив ценность в глазах редактора. Но шторы неподвижны, как и кроны лип, протянувшихся вдоль пустынной улицы. Странный какой-то штиль: ни ветерка; и людей совершенно не видно, и булочная на первом этаже закрыта, в общем, совершенно мертвенный пейзаж. Репортер приближается к витрине, чтобы застыть на минуту перед румяными штруделями, что нарисованы на огромных кусках картона и призваны пробуждать аппетит покупателей. Папарацци поглаживает живот, видно, начинающий бурчать, потом смотрит на часы. До открытия булочной еще не скоро, и тот со вздохом (вздох заметен даже издали) достает жвачку и заталкивает ее в рот. Из рта наверняка неприятно пахнет, потому что ночь он провел где-нибудь в ночном клубе, где беспорядочно пил, снимая одуревшую от музыки молодежь, и дыхание под утро сделалось смрадным, будто ел продукты с помойки.

Дом похож на склеп: темно-серый, мрачный, с малым ко-

личеством окон по фасаду, он хорошо смотрелся бы на каком-нибудь старом итальянском кладбище. На нашем кладбище склепов нет, но в католических странах, я знаю, любят монументальность в местах захоронений, и дом, выходящий углом на перекресток, был бы там уместен. Надо только булочную убрать, слишком радостная вывеска. Здесь не нужна неоновая реклама и пышные штрудели в витринах: строгость, аскетизм и приглушенные тона – вот что подошло бы кладбищу.

Один из обитателей дома тоже был бы уместен на католическом кладбище, он ведь католик по воспитанию. К тому же он не живет в доме в полном смысле слова, – можно сказать: он заживо похоронен. Из-за чего человек с камерой, лениво устремляющий объектив на зашторенные окна, представляется извращенцем, некрофилом, желающим достать из склепа труп и подвергнуть его вскрытию. Или он шакал, опоздавший к пиршеству таких же трупоедов? Да, это будет правильнее – шакал, койот, гриф – без крыльев, зато с зеркальной фотокамерой, снабженной к тому же телеобъективом. Шакал опять переходит улицу, чтобы лучше видеть окна, и делает очередной щёлк. На снимке (камера-то хорошая!) будет заметна пыль на стеклах; и уж наверняка там будет запечатлен кусок фанеры, прикрывающий частично разбитое левое окно. Светлая фанера на фоне серых штор выделяется, напоминая о днях, когда шакалы с грифами кружили здесь целыми стаями. Тогда и телекамеры появлялись, и люди с мик-

рофонами, потому что сенсация, хоть и мрачноватого толка. Теперь новость поблекла, покрылась такой же пылью, как и окна на третьем этаже, только вот этот, опоздавший, трется возле дома без надежды на успех.

Фанера появилась после того, как местные наци швырнули в окно камень. Говорили, швырнули прямо на глазах полицейских, которые демонстративно отвернулись: мол, ничего не видим, ничего не знаем. Наци, конечно, не шакалы, это волки, но, когда требовалось, власть легко с ними справлялась. Только в тот раз справляться, похоже, не хотелось. Город тогда разделился во мнениях насчет человека, который похоронен за массивными шторами, а в те дни сам занимался похоронами. И хотя старался делать это втайне, все быстро узнали новость, отреагировав по-разному. Кто-то был готов швырнуть камень в окно или передоверить «святую месть» бритоголовым ублюдкам; другие, напротив, сочувствовали. Ну и, конечно, свое слово сказали СМИ: писали и pro, и contra, причем не только в городских, но и в центральных газетах.

Странно: папарацци меня не замечает. Наверное, причина в камуфляжном армейском костюме, который на мне надет. Зеленоватый с примесью хаки, цвет костюма небросок, даже в черте города одетый так человек скрыт от любопытных глаз, он сливается со стенами домов, стволами лип, а если учесть, что я как раз прислонился к стволу, то обнаружить меня довольно трудно. Ствол шершавый, теплый, к нему

приятно прислоняться, и если бы не фотограф-некрофил, я бы так и стоял, слушая легкий шелест кроны (совсем легкий, поскольку штиль) и вдыхая утренний воздух, еще не загаженный выхлопами авто, прозрачный и напоенный кислородом. Только к черту кислород, он мне в легкие не лезет, потому что на окна опять направляют объектив.

Я приближаюсь сзади, бесшумно и стремительно, словно участник полицейских спецподразделений, что борются с террористами. Хоп! Камера у меня в руках, я отхожу и прячу аппарат за спину.

– Эй, ты что делаешь?! – Папарацци, видно, шокирован. – Отдай!

Отступив на несколько шагов, поднимаю камеру над головой.

– Если ты подойдешь, я ее разобью. И тебе нечем будет фотографировать.

Решительно ко мне направившись, репортер застывает.

– Как это – разобьешь?!

– Очень просто – об асфальт. После чего тебя уволят с работы, потому что новую камеру ты купишь не скоро. Сколько такая стоит? Тысячу евро? Или две?

Он с удовольствием призвал бы на помощь полицейского, но улица пустынна, потому что шесть утра, выходной день, центурионы не спешат патрулировать безлюдные кварталы, и я спокойно могу уронить дорогое техническое устройство на асфальт. А потом наступить на него армейским ботинком

с массивным подкованным каблуком. Кроме формы, у меня еще и ботинки соответствующие (я собрался в долгий путь!), и если таким каблуком придавить камеру, объектив треснет, как куриное яйцо.

– Слушай, ты кто такой?

Папарацци с подозрением меня оглядывает – видно, форма сбивает с толку. Вроде не полицейский, не солдат бундсвера, но что-то военное (а военный – всегда сила!) в моем облике проглядывает.

– Я тот, кто должен тебя прогнать. Ты уйдешь отсюда?

– Зачем уходить?! – искренне недоумевает он. – Я разве кому-то мешаю?

– Мне мешаешь. Я хочу стоять на этой улице один.

– Ах, вот как... Ладно, уйду. Только отдай камеру, она действительно дорогая. И куплена, между прочим, в кредит.

Засунув аппарат в чехол, репортер еще раз внимательно ко мне приглядывается. И с другой стороны улицы кричит:

– Я тебя узнал! Ты его брат! Ты работаешь в «Городской газете»!

– Уже не работаю, – отвечаю, – уволился. Я уезжаю.

Человек, живущий (надеюсь, все-таки живущий) за разбитым окном и плотными серыми шторами – действительно мой старший брат Франц. Точнее, мой сводный брат: у нас разные отцы; и фамилии разные, так что не многие знают про наше родство, разве кое-кто из пронирыливой газетной братии. И мой визит к дому утром воскресного дня говорит

о том, что паблисити мне по-прежнему не нужно.

Если честно, я даже не знаю, жив мой сводный брат или нет. Последний раз я видел его, точнее снимок с его изображением, несколько недель назад. Изможденный небритый человек выходил из булочной, держа в руке пакет с едой, а другой рукой закрывал лицо от объектива очередного папарацци. Но глаза, полные усталости, погасшие, все равно попали в кадр, и, скажу я вам, человек с такими глазами способен на многое. Не буду брать в расчет его католическое воспитание, покончить с жизнью оно не мешает. Как покончить? Желательно не популярным в кинематографе способом, когда ванна, окрашенная красным вода и бритва на полу, выпавшая из безвольной руки. И не сованием головы в петлю, потому что вылезают глаза из орбит, язык вываливается, а лицо синее... Бр-р! По мне, так лучше всего голодовка, отказ от пищи – угасаешь достойно, все материальное из тебя постепенно уходит, ты вроде как мумифицируешься заживо.

Стоп, стоп! Что значит: «лучше»? Лучше, чтобы сводный брат был жив и здоров и отодвинул шторы вначале чуть-чуть, а потом, увидев меня, на ширину окна. Чтобы убрал фанеру, открыл створку и, высунувшись по пояс из окна, на всю улицу прокричал:

– Курт, привет! Заходи!

Он всегда кричал громко, вообще был громким, шумным, заметным, совершенно не германский темперамент, скорее

романский. Он ведь наполовину француз – по отцу, они же у нас разные. Так вот, он кричит, а я со стеснением оглядываю окна, в которых появляются возмущенные физиономии фрау, проживающих по соседству. Стеснения добавляло то, что я заходил редко, слишком уж мы различались, по возрасту в том числе. То есть это я так считал, а Франц плевать хотел на разницу в возрасте и на мой стеснительный характер. Каждый раз у него были новые увлечения: марки, диски с рок-н-роллом, и все время то друзья в гостях, то девушки. Девушек, надо сказать, я боялся больше всего, особенно тех, кто пьет пиво. Они и меня угощали, после чего подсаживались и начинали расспрашивать о школьных подругах. При этом они переглядывались, хихикали, будто ждали, что я сболтну что-то личное, даже непристойное, выдам тайну. Я же не выдавал тайну (да ее и не было), только удушливо краснел, пряча лицо в очередном альбоме «Scorpions»...

Если бы Франц выглянул минуту назад, он бы, наверное, оценил мое поведение. В сцене с папарацци я был немножко братом, это его стиль – неожиданный, дерзкий, парадоксальный. Но Франц не выглянул; и минуту спустя не выглянул, и десять минут спустя – тоже. Так что пора отсюда уходить. Я бросаю прощальный взгляд на серые шторы, и вдруг горло перехватывает. Кислорода, которым полна утренняя улица, почти нет, я задыхаюсь от боли и отчаяния, кажется, я сам готов умереть...

Я знаю, что увезу это воспоминание туда, где не раз был

сводный брат и где я не был ни разу. Воспоминание займет совсем немного места в моем походном рюкзаке, но будет самым тяжелым грузом. Что еще будет в рюкзаке? Две рубашки защитного цвета, еще одни армейские брюки, пять пар носков, три пары белья, шерстяной свитер, полиэтиленовый дождевик с капюшоном, спальный мешок, фонарик, блокнот, портативный компьютер и, конечно, карты. Без подробных карт мое путешествие немислимо, хотя, если честно, оно и с картами немислимо. Поэтому где-то в углу рюкзака будут прятаться мои самонадеянность, авантюризм, стремление что-то доказать (что? и кому?), в чем-то разобраться (в чем?); там окажутся мои страхи и непонимание того, что брат сделался таким, мое одиночество, – впрочем, одиночество я с собой не возьму, я оставляю его здесь.

Рюкзак выбран старый и потертый, новый я забраковал. В путешествии, я знаю, костюм запылится, где-то, возможно, порвется, то есть быстро придет в соответствие с рюкзаком. В итоге я буду меньше привлекать внимание, ведь от этого один шаг до ненужных расспросов, а вслед за расспросами может последовать неприятность.

Так если ты боишься неприятностей, спрашиваю себя, зачем отправляешься в путь? И сам же отвечаю пословицей из чужого языка: «Береженого бог бережет, небереженого – конвой стережет». Замечательная фраза! Она осталась от старого солдата вермахта, моего учителя чужого языка, и я обязательно возьму ее с собой, уложив в непромокаемый ме-

шок, а затем завернув в шерстяной свитер. Возможно, в рюкзак будут уложены еще два необязательных предмета, но я пока не решил, возьму ли их с собой.

Сборы закончены вчера вечером, а накануне я навестил Гюнтера. Он тоже удивленно разглядывал костюм, в котором я разгуливаю уже несколько дней – привыкаю. Внезапно Гюнтер захохотал, точнее заржал как конь, трясая огромной гривой белых, словно солома, волос. Он всегда, сколько помню, ходит с этой гривой, и всегда все делает внезапно.

– Ты выглядишь нелепо! Ты что, собрался в джунгли Центральной Африки?! Или записался в Иностранный легион?! А ботинки – вы только посмотрите! Ты можешь дойти в таких ботинках до Сибири, но ты вроде туда не собираешься?

Внезапно Гюнтер замолк.

– Вы всегда были стукнутыми, и ты, и Франц.

– Франц – да, а я никогда не был стукнутым.

– Был, был! Помнишь, как мы с тобой боролись в пятом классе? Я тебя уложил на спину, можно сказать, одержал чистую победу, а ты, лежа внизу, вдруг взялся меня душить!

– Не помню, – сказал я.

Я действительно не помнил. Из школьного времени я помнил лишь старого солдата, преподававшего чужой язык. Понятно, что солдатом он давно не был; а преподавал в частном порядке (официально бывший боец вермахта преподавал географию).

Когда я спросил про старого солдата, Гюнтер замахал ру-

ками.

– Помню, конечно. Он тоже был стукнутый!

После чего протянул руку и, открыв дверцу холодильника (мы сидели в его крохотной кухне), достал запотевшую бутылку.

– Давай выпьем шнапса. Ты должен привыкнуть к шнапсу, там, – он махнул рукой в сторону запада, подразумевая, очевидно, восток, – пьют только этот напиток. Причем очень холодный, вот такой.

– Я не хочу шнапс, – сказал я. – И привыкать не хочу. У тебя пиво есть?

Гюнтер опять заржал.

– Если любишь пиво, то оставайся! Там, – он опять махнул рукой в направлении французской границы, – нет хорошего пива! А здесь через полтора месяца начнется Oktoberfest, так что оставайся! Попьем «Lowenbrau», найдем тебе... Кстати: как отношения с Магдой? Никак? Ну, ничего, найдем тебе девочку, ты наконец женишься и тебя не потянет больше в странствия! А? Не хочешь девочку? И шнапса не хочешь? Тогда пей свое пиво, а я буду шнапс.

Гюнтер пил маленькими глотками, закусывая шнапс арахисом и с ехидством вспоминая Drang nach Osten, который ничем хорошим, как известно, не кончился. И твой Drang, говорил он, ничем хорошим не кончится, поверь, я немного знаю Восток.

– Откуда?! – удивлялся я.

– Я жил в Дрездене! – нахально заявлял Гюнтер. – И в Лейпциге!

– Это – не Восток.

– Ну ладно, тогда вспомни своего брата. Тебе мало этого ужаса? Тебе хочется ужаса еще большего?

– Нет, – сказал я после паузы, – ужаса не хочется. Но мне надо уехать, я больше не могу сидеть на месте. Помнишь, что говорил Ницше? «Усидчивость есть грех против духа святого».

– Ницше не верил в святого духа. Он сам считал себя святым. И вообще он был...

– Стукнутый, я знаю. Но он был прав, и это главное.

Внезапно Гюнтер сделался агрессивным. Он заметно опьянел, угрожающе тряс гривой и выплевывал из себя ругательства вперемешку с непережеванным арахисом. Я, как мог, уклонялся от арахиса, но разве пропустишь мимо ушей обвинения в глупости и безрассудстве? В попытках прыгнуть выше головы? В стремлении выглядеть не как все, иначе? Причем Гюнтер не отделял меня от Франца, мы в тот момент были для него единым целым, неким двухголовым драконом или, если хотите, двуглавым орлом, обе головы которого повернуты туда (опять следовал неверный указующий жест). Он ведь, Гюнтер, несколько раз приходил к Францу, хотел поговорить, один раз даже психоаналитика с собой привел. Так Франц не открыл!

– Мне он тоже не открывает... – осторожно вклинился я,

но Гюнтер этого не услышал (или не захотел слышать).

– В общем, вы мне надоели! Оба! Глупцы, кретины и... – он саркастически расхохотался. – Да вы же психопаты! Мне нужно было не психоаналитика приводить, а психиатра, потому что вы оба верите в ту мистическую ерунду, которую писали про сына Франца. Необычный, уникальный, антропологическое чудо! Чушь, глупость! Это писали желтые газеты, понимаешь, ты?! Должен понимать, ты же работаешь в нормальной «Городской газете», ее читаю даже я, Гюнтер, который никаких газет вообще не читает!

– «Городская газета» тоже писала об этом. Хотя я там уже не работаю. Я уволился.

– Все равно не верю ни в какую мистику! – запальчиво крикнул Гюнтер. – Я понимаю одно: надо бороться, надо своими руками менять эту идиотскую жизнь, иначе Европа рухнет к чертям собачьим!

Внезапно захотелось ударить Гюнтера. Он затронул что-то такое, о чем здесь и сейчас, под пиво и шнапс, просто не имел права говорить. И, чтобы не устроить напоследок драку с одним из немногих друзей, я решил уйти. Уже в дверях я сказал:

– Ты неправильно пьешь шнапс. Там, – указал я на восток, – не пьют маленькими глотками. И не закусывают арахисом, тем более – сладким.

– Пошел к черту! – крикнул в спину Гюнтер.

Наверное, я действительно стукнутый и мне нужен пси-

хиатр. Но я ничего не могу поделывать: я знаю, что после дома-склепа направлюсь на кладбище, к могиле в дальнем конце боковой аллеи. Купив за два евро свечу в автомате у входа, я сверну налево и пройду почти до ограды, чтобы обнаружить скромную гранитную плиту с указанием дат рождения и смерти. Цифры будут различаться до обидного незначительно, во всяком случае, моя жизнь не старого еще человека в несколько раз длиннее прочерка между датами, высеченными на граните. Но что такое – продолжительность жизни? Ее содержание не измеряется годами, даже если я протяну три прожитых срока и умру дряхлым старцем, никто не придет на мою могилу и не прошепчет: дас ист фантастиш! А вот сюда приходят, и шепчут, и оставляют всякую ерунду на могиле, потому что кто-то пустил слух: если что-то здесь оставите из дорогих сердцу вещей, вам будет счастье. Я опять увижу дамские зеркальца и шарфы болельщиков, дешевые наручные часы и автомобильные брелоки, кепки-бейсболки и компьютерные диски с фильмами и играми, в общем, мусор человеческий, с которым расстаются в надежде обрести нечто более значительное. Потом все это попадает в мусорный бак, который набивают уборщики, или на блошинный рынок, где марокканцы (недавно в городе осела их колония) раскидывают коврики с ворованными и подобранными на улицах вещами. Обретается ли столь желаемое счастье? Понятия не имею. Но я тоже прошепчу те самые слова, благо, имею на это больше прав, чем любой из прихо-

дящих. Они-то пользуются слухами, трижды перевернутыми папарацци всех мастей, я же был свидетелем, да что там – участником чего-то странного, нетипичного, выходящего за рамки обыденности настолько, что факты плохо укладывались в голове.

«Ха! – сказал бы Гюнтер. – Какие факты?! Чистейшая выдумка! Франц просто хотел популярности, а вы, журналисты, ему помогли!»

А я бы ему ответил... Ничего бы я не ответил. Глупо спорить, слишком грандиозна (да-да!) тема, чтобы полемизировать, будто сидишь в пивном баре и обсуждаешь программы ХДС и социал-демократов. Я тоже в чем-то позитивист. И в школе, в отличие от Франца, изучал основы религии в протестантском классе, где упор делался на обыденной жизни, а не на библейских чудесах. Но чуда хочется даже самым отъявленным скептикам, и если жизнь тебе преподносит такое...

2. Записка из мертвого дома

Вера получает аккуратно заклеенный конверт раз в две недели; бывает, и чаще. Вот и сегодня в почтовом ящике что-то белеет, значит, надо вынимать. Или не надо? Она долго стоит перед тронутой ржавчиной стальной конструкцией, разбитой на ячейки, и перебирает в кармане ключи. Внизу лязгает подъездная дверь, Вера вздрагивает и торопливо сует ключ в одну из ячеек. Черт, заело! Когда же заменят эти ящички?! Она с раздражением рвет на себя металлическую дверцу, и та вываливается вместе с замком. Входя по лестнице, она с бессильной ненавистью сжимает в руке конверт. Разорвать? Так уже рвала, и что толку? Конверты приходят со зловещей какой-то регулярностью, как повестки из карательных органов. Перед дверью она сует конверт в карман и вставляет ключ в замочную скважину. Если и этот замок заест (иногда такое случается), она точно опустится на грязный бетонный пол и зарыдает. К счастью, замок щелкает, и она вваливается в холодную темноту квартиры.

Она не сразу включает свет; честно говоря, его и включать-то не хочется. В полутьме эта хибара еще похожа на место для жизни, при включенном же (а также при дневном) освещении убожество лезет из всех дыр. Наконец, рука тянется к выключателю, другой рукой она вынимает конверт. Чем раньше, тем лучше, все равно ничего нового там не бу-

дет.

В записках вообще не было ничего, что могло бы напугать стороннего читателя, – так, банальные бытовые просьбы, изложенные бесстрастным тоном. Иногда тон делался обиженным, порой даже прокурорским: мол, почему не приходишь? Не отвечаешь? Почему забыла обо мне?! Но если бы сторонний читатель узнал, *кто* пишет эти записки, его хватила бы кондрашка. Наверное, он с отвращением отбросил бы конверт, не читая; а если бы все-таки прочел, негодованию не было бы предела. Да как она смеет, сука?! Как у нее рука поднимается что-то просить, ей же впору найти крюк на стене, накинуть веревку и сунуть голову в петлю! А что? Были такие, что сами с удовольствием накинута бы, дай только волю. На части бы распилили, ага, четвертовали бы без малейших угрызений совести.

Итак, что же там? Оторвав край конверта, она вынимает записку и, прежде чем прочесть, принюхивается. Так и есть: аромат «Шанель», который был принесен ею три месяца назад. Надо же, какая экономная: половину крошечного пузырька на столько времени растянула! Она вообще стала там такой рациональной и педантичной, что диву даешься! Вот и в записке все поименовано по пунктам:

1. Нужна зубная паста с мятным вкусом. Не перепутай: с мятным, другой вкус вызывает у меня тошноту.
2. Принеси вязаные домашние тапки с кошачьими мордочками. Здесь постоянно дуют сквозняки, и в обычных тап-

ках холодно.

3. Захвати байковый халат – по той же причине, не хочу мерзнуть.

4. Из еды купи питьевой йогурт и банку консервированных ананасов, нарезанных кольцами. Обрати внимание. КОЛЬЦАМИ, а не кусочками, у тех совсем другой вкус.

5. Журнал «Cosmopolitan» оказался не интересным. Приноси не столь гламурное чтиво, хотелось бы прочесть что-то о проблемах современной семьи.

Ну, и так далее, всего пятнадцать пунктов. Почему от всех этих безобидных реестров веет жутью? Потому что надо писать о *другом*, надо с первой до последней строчки выть, рвать на себе волосы, а не просить «прочитать что-то о проблемах современной семьи»! Блядь! У тебя была самая современная семья, современной не бывает, и что в итоге?!

Отложив конверт, она вынимает из сумочки сигареты, прикуривает дрожащими руками и после нескольких глубоких затяжек продолжает чтение. Еще требует полотенце, телепрограмму на неделю, три упаковки женских прокладок, блок сигарет, черта лысого, а в конце, как всегда, ставит полное имя: Любовь. Имя звучит издевательски, какой-то гомерической насмешкой звучит, хорошо еще, не приписывает, как раньше: «твоя сестра». Может, забывает, а может, уже не считает нужным лишний раз напоминать: мол, ты – моя ближайшая родственница, значит, обязана ухаживать за мной и таскать все это дерьмо, включая телепрограмму.

А ведь Вера могла бы напрочь порвать с этой жутью, одним махом разрезав кровавую пуповину, что связывала их многие годы. Она, собственно, и разрешила, когда съехала с прежнего адреса, спешно обменяв жилье в Замоскворечье на хибару в Царицыно. Странная была операция, любой из знакомых сказал бы: ты – дура, если решилась на столь неравноценный обмен! То есть сказал бы, если б знал, но, по счастью, никто этого не знает. Она просто сбежала куда подальше, ей хотелось затеряться, зарыться в песок, замуроваться в асфальт, в бетон, лечь на дно, как подводная лодка, и лежать в режиме полного молчания. Ни знакомым, ни соседям, ни товарищам по работе (с которой она быстро уволилась) Вера не сказала ни слова, просто исчезла в одном месте и возникла в другом. Она даже прическу изменила и цвет волос – вместо легкомысленной длинноволосой блондинки в Царицыно появилась коротко стриженная брюнетка, в черной кожаной куртке, в черных джинсах и в черных очках.

Это была свобода, живительный глоток воздуха, которым не дышала с момента смерти матери. До этого она еще как-то умудрялась ходить на работу, выносить взгляды соседей, наверное, чувствовала защиту матери, но уже на девятый день почувствовала вокруг пугающую пустоту. Если на похороны народ еще пришел, были и родственники, и соседи, то на девять дней не пришел *никто*. Мол, долг вежливости отдан, теперь варись в своем соку. И тогда стало страшно. Она сидела среди наготовленных салатов, кутьи, блинов, раскрытых

бутылок водки, и в нее вползал космический какой-то страх. Казалось, ее отправили в одиночный полет на Луну, точнее на Марс или Нептун – куда-то в холодную бездну. Все население Земли осталось в своей колыбели, она же летела в черной пустоте, удаляясь от людей все дальше, дальше...

Она жутко напилась, можно сказать надралась. Сидела перед портретом матери, хлопала рюмку за рюмкой, закусывая вначале кутьей, затем вообще не закусывая. Когда же прошел похмельный синдром, начался ад. Если раньше ее прикрывала мать, то теперь оголились и тылы, и фланги, любой мог нанести удар в незащищенное место. Чтобы избежать ударов, она выработала особый режим, исключая прямой столкновения с людьми. Перед тем как выйти на улицу, вначале выглядывала с балкона: не сидит ли кто на скамейке у подъезда? Потом озидала в глазок лестничную площадку, прислушивалась, не хлопает ли дверь лифта, лишь затем выскакивала на улицу с надвинутой на глаза кепкой и поднятым воротником. На работе – никаких междусобойчиков и задержек: от звонка до звонка, хорошо еще, стол за шкафом, в уединенном месте. А чтобы не слушать пересудов – наушники в уши, и прощайте, слухи-сплетни! Обычно она включала колыбельную Брамса, раз по десять слушала, ну очень успокаивало. В магазины же ходила только круглосуточные, что ночью работают. Пару раз к ней приставали подозрительные личности, однажды пытались отнять деньги, но лучше трястись от страха, шагая по ночным переулкам,

чем проходить к подъезду под перекрестными взглядами соседей.

Впрочем, она вытерпела бы даже взгляды; невыносимы были именно звонки и письма той, кто подписывался: Любовь. Раньше трубку поднимала мать и с каменным лицом слушала бред дочери, обдолбанной препаратами и напрочь утратившей память. Веру не подпускали к телефону, говоря: она на работе. Или: вышла в магазин. На письма тоже отвечала мать; она и на свидания ездила с кошелками, набитыми всякой дребеденью. А когда это надо делать самой... Слышать голос, записки читать, а главное, мотаться в «мертвый дом», чтоб он развалился! Такую жизнь не только на Царицыно – на Мытищи без сожаления обменяешь!

С трудом отвоеванная свобода кончилась, когда сообщила сестре новый адрес. Не хотела ведь сообщать; и новые владельцы родительской квартиры ничего о ней не знали, так что Вера имела шанс начать новую жизнь. Так нет же, сама накинула петлю на шею! Почему?! Вера вдруг пугается ответа. Она знает *почему*, но не хочет этому верить. Нет, на такое она не способна, чушь! Она выкуривает вторую сигарету, перемещается в кухню, ставит чайник, и постепенно возбуждение утихает. Прожитый день завершен, скоро ко сну, пусть со снотворным, но лучше так, чем ворочаться всю ночь, выкуривая пачку или даже две. Во время бессонницы всякое взбрело в голову, например, среди ночи звонила знакомым: разыщите ей, дескать, *хорошего* фармацевта.

– Постой, я еще не проснулся... Для начала скажи: ты где?!

– В Караганде. Найдешь хорошего фармацевта?

– Можно попробовать... А что значит – хорошего?

– Это значит: имеющего доступ к любым медикаментам, а не того, кто аспирин отпускает.

– К любимым, значит... Ладно, где теперь живешь? И чем? Ты, говорят, даже с работы уволилась...

– Уволилась. И адрес сменила. И номер телефона, как ты видишь, у меня другой.

– Вижу, что другой... Ладно, я тебе позвоню, если фармацевта найду.

– Я сама позвоню. Ты, главное, найди.

Она пресекала лишние разговоры; в конце концов, какое им дело, почему нужен *хороший* фармацевт? Дежурные расспросы о жизни все равно скатятся к единственной теме, которая до сих пор (а времени уже прошло немало!) интересовала всех и вся. «Хочу все знать!» – читалось на лбу любопытствующих (кажется, в далеком детстве был такой тележурнал). А что тебя судороги бьют и кишки завязываются морским узлом, никого не волнует. От силы пару человек волнует, в лучшем случае трех, с ними она и поддерживает (пока) зыбкие отношения.

Ну здравствуй, друг «Имован»! Надежный друг, безотказный, палочка-выручалочка, не позволяющая бессоннице пожирать мозг, высасывать душу и превращать тебя в монстра.

Вера высыпает на ладонь таблетку, добавляет еще одну и, глотнув вдогонку остывшему чаю, падает лицом в подушку. «Имован» ограждал в том числе от кошмаров, накрывая подсознание черным одеялом, укутывая им изможденный мозг, и разве что под утро, когда наступало пробуждение, сюрриковское видение иногда пролезало верткой хитрой змеей и наносило укус.

На этот раз змея опережает звонок будильника на минуту, но куснуть успевает болезненно. Куда она попала? Ага, это аудитория, где сидит «сборная Европы», готовая усвоить очередной урок русского. Какой оборот будем сегодня изучать? «Казнить нельзя помиловать»? Очень хорошо! Итак, если поставить запятую в этом месте, то какой будет смысл? Правильно: казнить! А если поставим в другом месте – что изменится? «Сборная Европы» качает головами, мол, ничего не изменится! Как это?! Вы что, сброд иноземный, хотите сказать, что знаете язык лучше меня?! Вера ставит запятую в нужном месте, только смысл (она и впрямь это чувствует) не меняется. То есть, как ни ставь, а получается: казнить!

– Не переживайте, – говорит Вальтер, – у нас тоже так было. Читали Гёте, слушали Вагнера, а все равно казнили, казнили...

– Не говорите ерунды! – отвечает Вера. – Одно дело ваши «наци», другое дело я! Так, кто пойдет к доске? Мелани, попрошу вас!

Бельгийка Мелани, как обычно, в драных джинсах, со

жвачкой во рту, лениво выгребает к доске, ставит жирную запятую после второго слова, но смысл остается прежним: казнить! Вера вызывает француза Патрика, итальянца Марко, англичанку Кэтрин, и раз за разом фраза оборачивается гибельным императивом. Так, кто там тянет руку? Вера вглядывается в дальний угол и обнаруживает сидящего за столом ребенка. Он очень большого роста, пожалуй, выше остальных людей, но видно, что это ребенок лет десяти. Внезапно накатывает слабость – она *знает* этого ребенка! Причем Вера убеждена: он-то сразу разберется с упражнением, такая задачка для него – раз плюнуть, главное, вызвать его к доске. Вера делает жест: мол, выходи, – ребенок встает перед аудиторией, и тут становится заметно: он просто огромный!

– Вау! – шпокает жвачкой Мелани. – Какой большой бэби!

Ребенок, однако, не отвечает на реплику, он абсолютно серьезен. Он берет мел, стирает написанное и выводит большими буквами: «ФАРМАЦЕВТ – НЕ НУЖЕН!».

Ну и как после этого пробуждаться? Если ночная рубашка – хоть выжимай, и руки трясутся, будто вчера пила по-черному? Почему-то в голове бьется мысль, дескать, надо ехать на работу, ее ждут ученики, и лишь спустя минуту мир обретает привычную конфигурацию. Слава богу, никуда ехать не надо. Там, где она учит «сборную Европы» премудростям «великого и могучего», сегодня выходной; а к сестре она ездила недавно, так что очередная записка ни к чему не обязывает.

На первое свидание Вера шла в убеждении, что будет общаться с сестрой через прозрачную перегородку по телефону (сказался просмотр голливудской продукции). Только никакой перегородки не было, была комната с решеткой на окне, и стоял стол с двумя стульями. Нет, был еще третий стул, на нем сидел охранник, таращась на молодых женщин, которые никак не могли начать разговор.

– А нам нельзя, ну... С глазу на глаз пообщаться?

– Нельзя, – отрубил охранник. – Общайтесь в моем присутствии, причем торопитесь: время пошло.

Часы висели как раз позади сестры, Вера вскидывала на них взгляд, но стрелка, как назло, двигалась черепашьими темпами. В тот раз она мысленно подгоняла время, потому что было невыносимо видеть стеклянные глаза, застывшую маску, некогда бывшую лицом (красивым лицом!), и слушать бред насчет хозяйственного мыла, которое дают для стирки. Мол, ужасное мыло, от него руки разъедает (она протягивала для убедительности ладони: вот, погляди!), а значит, ты должна принести мне нормальный порошок!

– Порошок нельзя, – встрял охранник, – можно другое мыло.

– Тогда другое мыло, ароматическое какое-нибудь. И шаль принеси, а то здесь сквозняки, я мерзну. Мамину шаль, помнишь? Из ангорки?

– Да, конечно, – медленно ответила Вера. – Ведь маме шаль больше не нужна.

Она ждала вопроса: почему не нужна? – но его не задали. Сестра вообще ничем не интересовалась, кроме своих бытовых неудобств, и оттого их беседа выглядела сюрреалистически: вроде как двое сидят в машине, у которой передние колеса зависли над пропастью, и говорят о погоде на завтра. С содроганием ожидая *главный* вопрос, Вера заранее подыскивала слова, готовая от стыда провалиться под землю (охранник хоть и сволочь, но все-таки человек). По счастью, вопрос не прозвучал, сестра только улыбнулась краешками губ, сказав на прощанье:

– Я все знаю!

– Что знаешь? – спросила Вера.

– Все. – Не стали уточнять. – Ты не бойся: я не оторвана от мира. Я смотрю телевизор, читаю журналы...

– Участвую в самодеятельности... – пробормотал охранник, вставая со стула.

Вера обратила на него полные удивления глаза.

– Вы серьезно?! Ну, про самодеятельность?

– Шучу, конечно. Никакой самодеятельности, в том числе и касательно регламента свиданий. Все, время вышло, прощайтесь!

Позже она узнает от пожилой медсестры, что охрана таким манером мстила всем и вся, обиженная новым приказом. Раньше в этой психушке со спецконтингентом с трудом справлялись медсестры пенсионного возраста да парочка санитаров, а мордovorоты с дубинками только КПП охраняли.

И тут приказ по казарме (после одного серьезного инцидента): привлечь охрану к надзору за психами-уголовниками! Охранники приказу подчинились, делать-то нечего, но изгались после этого, как могли.

Потом было еще несколько свиданий, и та же эгоистическая озабоченность мелочами. Те же капризы, бесчисленные просьбы, и если бы не охранник, Вера наверняка бы не сдержалась, заорала бы истошным голосом, а может, и стулом бы огрела по башке, чтоб в себя пришла.

– Ладно, пусть учится, – сказала сестра во время последней встречи, – я согласна.

– Кто учится? – Не поняла Вера.

– Мой сын. Пусть он учится в этом колледже для особо одаренных, я не возражаю. Я только считаю, что он должен каждые каникулы проводить дома, с мамочкой. Он ведь придет скоро из Мюнхена, правда?

У Веры даже пальцы похолодели, настолько жутко стало. Она увидела угрюмую усмешку на лице охранника и, чувствуя подступающую дурноту, вдруг засобиравалась. А ночью набрала номер и попросила найти ей *хорошего* фармацевта...

Собственно, у нее украли сон. Главный сон, из которого не хочется выходить; тот, что посылается единожды и больше никогда не повторяется. В этом сне тоже был ребенок, бледнокожий, с веснушками на курносом носу и черными как смоль выющимися волосами. Рост, правда, он имел нормальный, как и положено ребенку; но разве дело в росте?

Спустя годы она поняла: все это мелочь, фикция, можно рядом с совершенным крохой, с второклассником, чувствовать себя полным ничтожеством, карликом или муравьем. Можно, как выяснилось, быть муравьем даже рядом с младенцем.

Впервые это чувство возникло, когда Норман только ползать начинал, бессмысленно (так казалось) играя с кубиками. Когда Вера увидела однажды собранное на полу слово БОЛЬ, она решила, что это сделала сестра. Но спустя день то же слово было выложено теперь уже латиницей. Норман с детства был билингвой, то есть осваивал два языка, но тогда он в лучшем случае агукал, не в силах связать какие бы то ни было слова, и аккуратно сложенный KRANK из кубиков смотрелся насмешкой, шуткой старшей сестры (та, надо признать, всю жизнь подшучивала над младшей, и не всегда по-доброму). Люба, правда, отнекивалась: мол, ничего я не складывала. Кубики были давно перемешаны, с паласа, который утюжил Норман, слышалось очередное «агу», а Веру не покидало ощущение чего-то невероятного, что находится рядом, но пока не опознается. Когда через пару дней Норман заболел воспалением легких и был увезен в больницу, Вера напомнила сестре о кубиках, но та на нее наорала: иди к черту со своими кубиками! Дите чуть на тот свет не отправилось, под капельницей лежит, а ты с глупостями лезешь! Это она в будущем начнет везде выставлять Нормана, преподносить его, как чудо из чудес, а тогда и внимания-то на него особо не обращала.

Потом в сон ворвется, как всегда, шумный и заводной Франц, заявившийся вместе сестрой откуда-то из Норвегии. Он обрушит на их головы массу планов и проектов, заставит в чем-то участвовать, и кубики вместе на время отодвинутся в сторону. Помнится, Вера тогда спросила Франца: почему сыну дали такое странное имя: Норман?

– Почему? – Франц засмеялся. – Возможно, потому что были такие морские странники: норманны, которые покорили почти всю Европу. И наши дети будут жить в общей Европе. Это должно быть... Как это по-русски? Нормой, правильно? Вот поэтому и Норман!

Утро не дает облегчения: кажется, на плечи взвалили камень, и надо тащить его до вечера. Ко времени сна Вера согнется под этой тяжестью так, что, кажется, вот-вот хрустнет позвоночник. «Нет, – говорит она себе, – не должен хрустнуть. У меня еще важное дело впереди. “Казнить нельзя помиловать...” Надо же!»

3. Долгое прощание

Два дня, отведенные на прощание, в голове крутится банальная мысль: «Мы не ценим, что имеем». Покидаемое пространство оказывается на удивление комфортным, подогнанным по фигуре, как мой армейский костюм, будто все выемки этого мира соответствуют выпуклостям моей натуры (равно как и наоборот). Тот мир, что меня ждет, вряд ли будет столь же уютным, и оттого в душе – некий микст боязни и ностальгии, каковую испытываю заранее. Обжитое пространство кричит из-за каждого угла: остановись, безумец! Кричит здание детского сада, куда меня водили в далеком детстве, и где на стене нарисована сороконожка. Сад так и называется: «Сороконожка», и родное насекомое, кажется, тянет бесчисленные лапки, чтобы меня удержать. Кричит супермаркет на углу, где я закупаю продукты и свежее баварское пиво, а однажды получил выигрыш в виде недельной корзины продуктов. Во что я играл? Не помню, вроде бы проводилась дегустация сыров, а может, дегустация вин. И редакция, где работал много лет, кричит так, что я не выдерживаю и вопреки данному себе обещанию захожу туда.

– Ты передумал?! – Вижу удивление в глазах редактора. – Хотя, если судить по твоему мундиру...

– Нет, – говорю, – зашел попрощаться.

– Тогда прощайся.

Всплеск эмоций миновал, и в глазах читается список срочных дел: совещание, утверждение макета, сдача номера и т. д.

– Извини, – говорит он, – но я не мог оставить тебя в редакции. И командировку оформить не мог, слишком долгий у тебя поход. Но если будут интересные материалы – присылай.

– Обязательно, – говорю. – У меня будет компьютер с подключением к GSM, и если что...

– Присылай. Договоримся так: если помещаем, я перечисляю гонорар тебе на карточку. Только... Не пиши о необыкновенных вещах, хорошо? Лучше про обычную жизнь, это больше интересует читателя.

– О'кей, – говорю, – хотя раньше вы не возражали против *необыкновенного*...

– Это была ошибка. Я не против сенсаций, они повышают тираж и наши бонусы. Но мы слишком серьезно к этому подошли, взялись писать о каком-то явлении, хотя на самом деле...

Он смотрит на часы.

– Извини, дела. – И, после паузы: – Будь там осторожен. Я знаю: это опасное предприятие, очень опасное!

В этот момент мне хочется стащить наряд десантника, расшнуровать ботинки на толстой подошве и, сунув ноги в летние сандалии (я всегда ходил в редакции в сандалиях), плюхнуться в вертящееся кресло, которое идеально подхо-

дит к моему телу, как и остальной здешний мир. Я всей душой готов согласиться: ничего необыкновенного в этой жизни нет, она тривиальна, объяснима, в чем-то вульгарна, но этим и хороша! Да, да, хочу закричать я, это была обычная газетная утка, ничего особенного под плитой с именем Norman – нет! А значит, и дальше будем стряпать сенсации, размещать рекламу – словом, жить, как всегда, без пеших путешествий по опасным восточным странам! Одним словом, я готов повернуть обратно: я даже рюкзак до конца не собрал, отложив два необязательных предмета.

Один из предметов, который я должен (или не должен?) положить в рюкзак, выглядит как средневековая реликвия. Это икона Девы Марии, с потускневшим от времени изображением, украшенным кованой жестью. Жесть покрыта серовато-коричневым налетом, что также свидетельствует о древнем происхождении иконы.

– Это мне принесли месяц назад, – сказал редактор. – Помнишь, мы публиковали материал о возвращении культурных ценностей, перевезенных сюда во время войны? Так вот владелец принес эту икону, чтобы мы вернули ее на место.

– Вы знаете, где это место?

– Да, он назвал населенный пункт, там должна быть церковь. Кажется, это по дороге.

Когда я сверился с картой, указанный «пункт» оказался не совсем по дороге, и потому икона под вопросом. Обещаний я

не давал, так что обитая жестью доска может полежать и дома, а по возвращении я скажу: не нашел церковь. Что будет, наверное, правдой, они сами рушили свои храмы, не надо было никаких бомбардировщиков Ю-88, чтобы уничтожить древний культ. Тем более для меня этот культ не близкий, даже абсурдный. Неровная доска с нарисованной картинкой, покрытой сеткой мелких трещин, грубое покрытие из жести – все это оставляло ощущение дурно сработанной вещи. Если бы ту же вещь делал мастер из Баварии или Саксонии, она выглядела бы иначе, и наверняка была бы прочнее. А тут даже рама (которую вроде называют «окладом») рассыпалась! В общем, протестантское воспитание бунтует, не желает поклоняться доскам, надеясь только на себя, на дела своих рук, на свою волю, способную медленно, но верно менять окружающий мир...

Все же икона укладывается в рюкзак. Ты сам слил в унитаз свое протестантское воспитание, говорю я себе. Ты еретик, отступник, желающий чудесных и быстрых метаморфоз, а не медленного и упорного преобразования жизни. Втайне ты надеешься, что доска с жестью послужит тебе пропуском в другой мир или будет этой... Ага, охранной грамотой! При условии, конечно, что ее не конфискуют на границе, – говорят, польские таможенники – настоящие звери.

Второй предмет я тоже решаю взять с собой. Что не менее абсурдно, зато более понятно: уже сам предмет проще, грубее, безо всякого мистического наполнения, зато со впол-

не понятной символикой. Небольшой кусок бетона, с одной стороны гладкий, с другой имеющий бугристый скол. Чья кирка отколола этот кусочек? Или, может, то был тяжелый молот, какими разбивали бетонный монолит, некогда разделивший Берлин на части? Точнее, на части разделили целый мир, и вот он опять воссоединяется (в те дни так думалось), а кто же откажется от раритета, свидетельствующего об эпохальном событии?

Кусок стены привез Франц, бывший в ту пору в Берлине. Что пробудило во мне страшную зависть – я-то был еще подростком, которого не пустили на великий праздник воссоединения. Сводный брат пребывал в эйфории, и я полностью разделял эти чувства, поэтому поместил невзрачный кусок бетона на полку под стекло, словно это был фрагмент кладки иерусалимского храма. Помнилось, возбужденный Франц принес только что опубликованное эссе Патрика Зюскинда, в возмущении потрясая журналом.

– Посмотри, что пишет автор «Парфюмера»! Читал? Тогда почитай! Он пишет: нам, оказывается, было уютно в том мире, со стеной! И к этому новому миру нам надо привыкать! Ты понял?! Ему надо привыкать! Ему неуютно, гораздо уютнее было сидеть за стеной и писать истории своих убийц! Нет, это поколение стариков, они так ничего и не поняли!

Предвидел ли Франц, что спустя годы сделается героем истории, которая напомним Зюскинда? Вряд ли предвидел, он вообще был оптимистом, мрачные прогнозы отметал с по-

рога. Франц был *легкий*, что проглядывало и в летящей походке, и в свободной манере общения, и в той легкости, с какой ему покорялись обстоятельства. В каком-то смысле он вообще не был немцем, отличался от общей массы и внешне, и внутренне. Что кого-то могло сделать изгоем, но только не Франца, умевшего найти общий язык даже с турками. Они тогда поселились в соседнем районе, заняв дешевое социальное жилье и начав разрушение старых, еще гитлеровских времен зданий. Работа была тяжелой и грязной, немецкие рабочие разбивать вручную мощные бетонные конструкции не желали, турки же брались за это охотно – несмотря на тяжелые травмы и даже смертные случаи. А поскольку школа Франца располагалась неподалеку от турецкого квартала, стычки с чужими подростками были неизбежны.

После одной из таких стычек на развалинах старого универмага обе стороны могли записать себе в актив выбитые зубы и порванную одежду противника. Назревала повторная «атака», стороны запасались камнями, когда Франц неожиданно сказал:

– Пойдите. Дайте полчаса, я с ними договорюсь.

Получаса не потребовалось – буквально через десять минут он привел высокого смуглого парня, сказав: это Исмаил, он хочет с нами дружить. И остальные хотят – при условии, что мы не будем их бить. В тот раз дипломатия Франца вызвала общее восхищение, стычки прекратились, а Исмаил вскоре перешел учиться в класс Франца. Ну и как тут

не счесть себя человеком мира? Тем более что в роду нашей матери были англичане и шведы, как мы выяснили после исследования генеалогического древа, а один из предков его отца Жан-Жака оказался поляком, служившим во французской армии еще Наполеону Бонапарту.

– Получается, что я – европеец! – восклицал Франц. – Человек новой Европы!

– А я? – спрашивал я ревниво.

– И ты тоже! Это вообще глупо: разделять людей на страны и нации! Помнишь, до чего это доводит? До Маутхаузена!

Более всего ему хотелось присоединить к созданной в воображении Европе ту «медвежью шкуру», чей ближний край начинался в белорусских лесах, а дальний омывали волны Тихого океана. Тут и непомерные амбиции сказались, и комплекс вины – все-таки в его жилах текла кровь двух завоевателей, пытавшихся (бесславно) покорить Россию. Тогда и появился старый солдат. В школе Франца он преподавал географию, но в запасе имел язык, выученный во время пребывания в советском плену. Почему-то более всего запомнилось, как он рассказывал про лес, покрывавший огромные пространства.

– Зимой 42-го меня ранили в районе Ладожского озера, и я полетел в госпиталь в Кенигсберг. Наш старенький «Ю» делал примерно двести километров в час, а всего я летел больше пяти часов. И что видел внизу? Один лес! Лес, лес, ничего, кроме леса! А если бы я полетел на Урал? Туда нуж-

но было бы лететь двадцать часов, и я видел бы то же самое...

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.